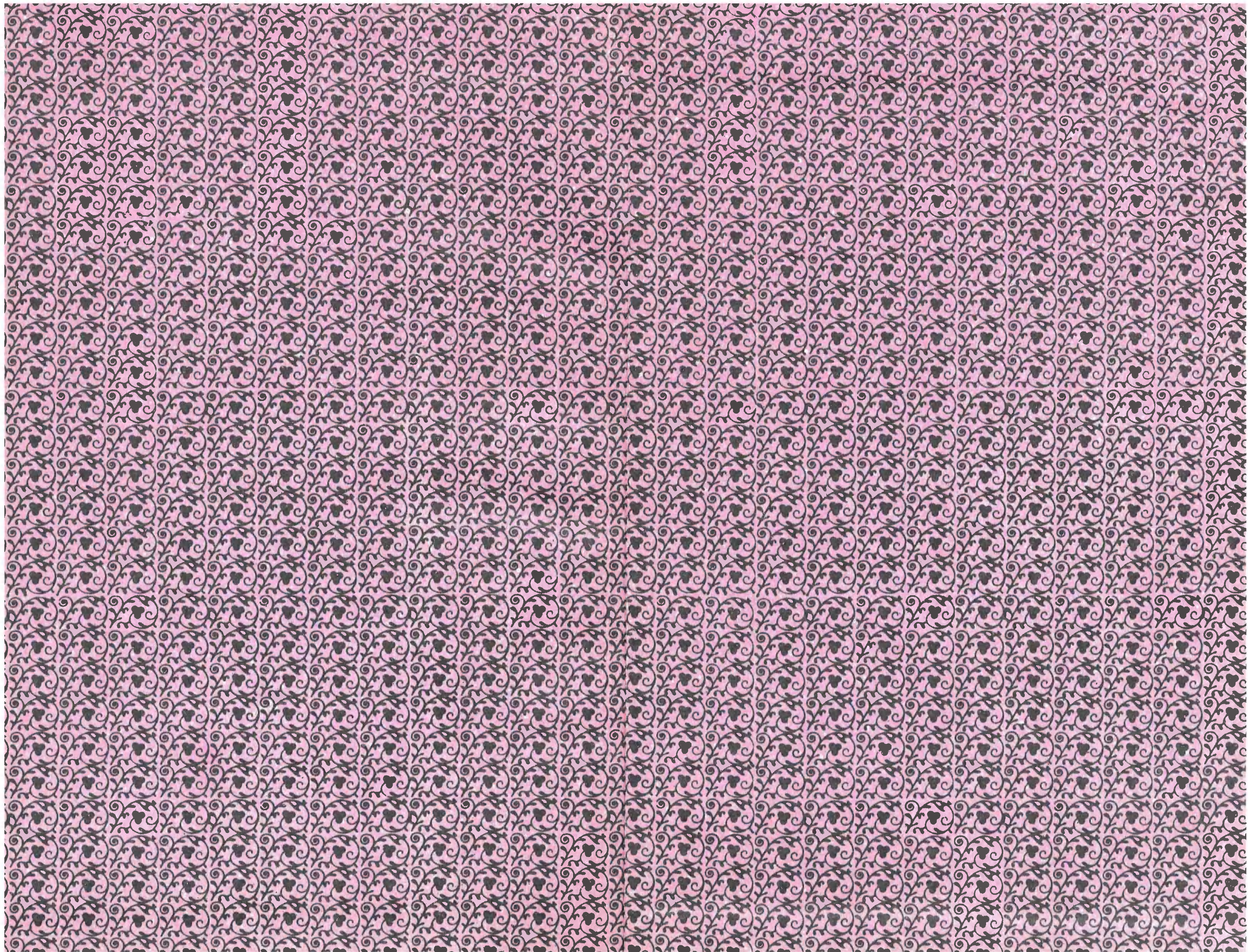


НОВИНКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Виктор Сапов

ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА
СССР



НОВИНКИ • СОВРЕМЕННОСТИ •

Виктор Сапов

11168

БЛЕСНУТ БУШУЮЩАЯ ВЛЦА

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ

«СОВРЕМЕННОСТЬ»
МОСКВА
1986

P2
C19

Рецензент *П. Алешкин*

Сапов В. Г.

C19 Блескавица: Повесть, рассказы.--- М.:
Современник, 1986.— 207 с. — (Повести
«Современника»).

Рассказы и повесть Виктора Сапова, корреспондента газеты «Правда» по Алтайскому краю,— о современной деревне, о людях «негромкой» судьбы. Они не пассивные созерцатели, а деятельные, целеустремленные натуры. Автор — в прошлом сельский житель, поэтому многие его произведения автобиографичны. В будничном, обыденном прозаик прослеживает преемственность нравственного уклада в крестьянской семье.

C 4702010200—110
М106(03)— 86 69—86

ББК84Р7
Р2

© Издательство «Современник», 1986.

РАССКАЗЫ

Ситный хлеб

К Молчанову Касьяну приехали гости: сестра жены Клавдия с мужем и десятилетним сыном. Касьян бюллетенил, но от радости устроил в честь родственников сабантуй.

Расположились в саду под яблоней. Стол ломился от яств, а хлебосольная Нюра послала и послала новые блюда.

— Ой, сестрица, тут наш месячный запас! — пропницала Клавдия.

— Чем богаты, тем и рады! — ответила Нюра. — Все свое, непокупное. Кушайте, гости дорогие, поправляйтесь, набирайтесь витаминчиков.

Клавдия жеманничала: мясного не ест, только — овощи да фрукты. Или возьмет ломоть ситного хлеба и нюхает, нюхает, а откусить не решается.

— Ну что ты все нюхасешь? — проворчал Касьян. — Ешь — не отравись.

— Уж больно запашистый! — сказала Клавдия. — Помнишь, Нюр, как мы пышки из толченой колючки ели?

— Разве забудешь? — отозвалась Нюра.

Хлеб и впрямь был пахучий. Нюра сама пекла каравай. На поду. Разрезала его на дольки, разложила на тарелке — получилось что-то вроде сказочного цветка.

— Ешь, сестрица! — повторила Нюра. — Полнота не порок.

— Тебе что не говорить, — возразила Клавдия.

Хороша Нюра. Трех ребят Касьяну подарила, а осталась тоненькой, как верба, легкой на подъем, в движениях быстрой — все так и горит в ее руках. Несколько не изменилась. А Коська ее располнел — брюшко наметилось.

Заметив прислоненные к яблоне костыли, Клавдия посмотрела на Касьяна, наклонилась к сестре: «Давеча забыла спросить: что это он костыляет?» — «Подвихнул ногу, думал, пустяк, а пошел в больницу, говорят — трещина в ступне, — вздохнула Нюрка. — Вот и наложили гипс». — «Ноги его уже не носят! — поддела Клавдия. — Раскормила мужика, как на убой». — «Зачем на убой? — засмеялась Нюрка. — На любовь». — «То-то гляжу — четвертого палюбили». — Клавдия легонько шлепнула хозяйку по округлившемуся животу. «А ты догоняй, сестрица, пока не поздно».

Клавдия пожала плечами, ответила неопределенно, дескать, всей душой рада бы, да обстоятельства не позволяют.

— Это что ж за обстоятельства такие? — вмешался в разговор Касьян. --- Вень, слышь, о чем воркуют?

Веннами обнял Касьяна, ответил за Клавдию:

— За нами дело не станет.

— Десног ты, Коська! — незло сказала Клавдия. — Жену закабалил и моего подбивашь на подвиги. Хочешь превратить меня в дипломатизованную пиявку. Не выйдет! — И Клавдия погрозила Веннамину.

Сестра у Юры умная. Окончила кооперативный техникум, теперь — директор магазина. Вениамин — инженер-конструктор на комбайновом заводе. Вполне интеллигентная семья. Но живут по какой-то другой мерке, чем Касьян с Юрой. Все вроде бы у них есть: Клавдия сама похвалялась — квартира хорошая, на заработок не жалуются, а детьми, по всей видимости, не хотят обременять себя. «Эх, интеллигенция! — заметил про себя Касьян. — Одного народили и с того глаз не спускают».

Мишенька — центр внимания родителей: то он не ест, другое ему нельзя. А Юрка с Касьяном о своей детворе голову не ломали: уминают за обе щеки, только успевай подавать. Вадим уже большой — скоро в армию провожать, Иван с Сергеем тоже прут, как на дрожжах. В отца рослые. В ладу живут ребятки. И братишку своего двоюродного быстро приняли в компанию, угощают наперебой.

— Мишенька! — Клавдия бросила строгий взгляд на сына. — Как бы чего не случилось.

— А что может случиться? — засмеялся Касьян. — Толще будет да здоровее. Правильно я говорю, Вень?

Касьян искал поддержки у свояка, но тот потушил взгляд, молчал.

Муж у Клавдии худой, щеки впалые. Тихоня. Поддакивает во всем жене. Касьян не позволил бы так помыкать собой...

Касьян гордился своим садом. Нелегко он ему достался. Можно сказать, кровью и по-

том. Пришел он из армии, а жить нигде. Перезимовали в тещиной халуне, а летом решил свое гнездо свить. Облюбовал местечко, которое почему-то все сторопой обходили, — Илюшин сад. Как такового сада там уже не было. Его вырубили еще в войну, и на том месте лишь кое-где торчали редкие побеги яблонь да вишни, да и те козы пообкусывали.

Хозяев поместья мало кто помнил на селе. Их раскулачили еще в двадцатые годы. А о саде ходила молва, будто землю для него завозили с лугов. Похоже, что так оно и было. Касьян еще мальчишкой бегал сюда собирать клубнику. А откуда ей в степи появиться, как не из лесу. Решил удостовериться, кокнул прошитую корешками трав подстилку, а под ней крупитчатый чернозем. «Негоже такому добру пропадать!» — подумал он и стал раскорчевывать участок.

— И что за неволя такая? — отговаривали его мужики. — Мало тебе другой земли?!

— А я, братцы, решил навсегда покончить с наследием прошлого! — отшучивался Касьян. — С корнем его вырву.

— Гляди, ну не поторви!

Целое лето корчевали Касьян с Нюркой пни, выворачивали из земли яблоневые корни. Осенью вспахали, а весной принялись разделывать землю: разбивали комья мотыгами, борошили, выбирая «мохнушки», снова вспахали. Небольшой участок заняли картошкой, а остальную площадь отвели под сад. Посадили фруктовых деревьев, а по краям крыжовник, смородину, малину. Разбили грядки под овощи, викторию.

— Богатый сад! — не скрывал своего восхищения Вениамин. --- II большой доход приносит?

— Ха, доход! — усмехнулся Касьян. — С моей-то оравой! Закручиваем в банки: круглый год с фруктами и вареньем. Эх, пораньше бы ты приехал, я б тебя мочеными яблоками и терном угостил.

— А ты, дружище, диверсант! — неожиданно заключил Вениамин.

Касьян от растерянности даже смолк и, недоуменно уставившись на свояка, спросил:

— Это почто же так?

— О, ты Клавку мою не знаешь, — улыбнулся Вениамин. — Она давно подбивает меня на дачу, а я профан в этом деле. Последний раз кое-как отбоярился. А теперь попробуй отговорись. Вконец запилит, припрет к стенке, скажет: «Касьян, значит, может, а ты нет?» Вот я и говорю: сад твой — прямой подкол под мой хлипкий авторитет.

Касьян рассмеялся, отметил про себя: «А свояк-то ничего, веселый парень». И стал расспрашивать гостя о житье-бытье. Узнав, что Вениамин сам из деревни, еще больше заинтересовался им.

— И давно переехал?

— Пацаненком в войну. Я ведь детдомовец. Как немец понер, нас и эвакуировали с Украины в Сибирь.

— Поди, тянет в родные края?

--- Как тебе сказать. Село свое знаю только по паспорту. А в деревню вообще тянет. Хотя здешней жизни толком не представляю.

— Было б желание — быстро освоишься. А у тебя оно есть. Вот и переезжай.

- Куда?
- Да хотя б к нам.
- И что я тут буду делать?
- Фи-и-и! Что делать? Ты же инженер. Да такие спецы нам позарез нужны. Квартиру дадут. Сад я тебе помогу заложить. И никакой тебе дачи не надо. Ну как?
- Треба обмозгувати.
- А чего долго чикаться? Материально не проиграешь. Ты скоко получишь?
- Двести рублей зарплата. Плюс пятнадцать процентов сибирских.
- Значит, средний заработок механизатора.
- А у тебя больше выходит?
- Меньше трех сотен не бывает.
- О, да ты стахановец.
- Есть маленько. Машинной даже премирован.

О премии Касьян сказал с гордостью и тайной мыслью. Ему вдруг захотелось получить согласие свояка на переезд, а в этом деле важен не только моральный стимул.

И Нюра мечтала перетянуть сестру из города. С некоторых пор она почти в каждом письме приглашала Клавдию в деревню. «Уж больно далеко ты забралась, сестрица, — писала она последний раз. — Хоть бы поближе куда переехала, чтоб можно было почаще встречаться. Приезжай, Клавушка, соскучилась. Тут и обговорим все».

Когда Нюра прочитала вслух написанное, Касьян гмыкнул: «Так она и поехала!» Он слишком хорошо знал Клавдию-студентку. Пока жива была мать, она частенько домой наведывалась. Стипендия невелика, а у

матери огородишко хотя и небольшой, но хорошо родил. Да и они с Юрой входили в положение Клавдии, чем могли, подсобляли.

«Ты учись как следует, — твердила Юра. — Мне не довелось, хоть ты выйдешь в люди».

Уезжала Клавдия из дому всякий раз не с пустыми руками. Сгибаясь под тяжестью сумки с продуктами, говорила:

— Век вас не забуду. Вот кончу учиться, снова рассчитаюсь.

— И не стыдно тебе говорить такое! — перебивала ее Юра. — Ну какие у нас могут быть счета? Мы же не чужие. Ты учись да поскорее домой возвращайся.

Клавдия кивала головой, мол, из деревни она никуда. Перед самым выпуском попросила Юру взять нужную справку от колхоза, чтобы получить распределение в родное село. «А то ушлиют к черту на кулички!» — писала она. Послали ей такой документ, а вскоре приходит письмо из Красноярска: вышла замуж.

Юра легко и быстро простила сестру. В конце концов, рассуждала она, вольному воля, главное, чтоб счастье было. А оно, судя по Клавкиным письмам, переселивалось у нее через край. «Удачное замужество, место в продмаге, — пронизировал Касьян. — Как мало надо человеку?» Не нравилось ему, что Клавдия писала редко и коротко, мол, живы-здоровы, чего и вам желаем. Вроде бы и знаясь не хотела. Не раз проезжала мимо на курорты, могла бы захватить на денек-другой, но где там — проскочит и весточки не пришлет. Да и сейчас долго не намеревалась

задерживаться. Не успела распаковать чемоданы, а уже заявила: «Мы недельку побудем и в Москву поедем».

«В Москву — разогнать тоску! — съязвил Касьян в Клавкин адрес. — Торопыга!» Разве с такой сварихи кашу? Иное дело Веннамин. Мужик свойский, податливый. В деревню тянет — это хорошо. Вот и надо через него действовать. «Что ж, зачин сделан, — подытожил Касьян, — а там видно будет».

Мужчины вернулись к столу. Сестры сидели напротив, о чем-то оживленно разговаривали. Касьян предложил было Веннамину снова присесть, но Клавдия вскочила, запротестовала:

— Мы с дороги. Устали. Спать-спать. — И она потащила Веннамина в избу.

— Ну и ведьма, — сказал Касьян жене. — И в кого она у вас такая уродилась?

— В себя, — усмехнулась Нюра и стала собирать со стола.

— И до чего вы договорились? — спросил Касьян.

— Ни до чего, — качнула головой Нюра. — И слышать не хочет о переезде.

— А свояк, кажись, не прочь перебраться.

— Мягкий он. Ты б лучше с Клавдией поговорил.

— Поговоришь с ней, змеей подколодной.

Касьян встал и заковылял за куревом в дом. Все уже улеглись.

Он не стал зажигать свет в коридоре, ступал осторожно, чтобы не скрипнула невзна-

чай половица, и вдруг замер, услышав шепот за перегородкой:

— Вень, а Вень, уж больно хорошо живет Коська. Домина такой, машина, хозяйство. Это какие ж деньги нужно иметь. Не верится, чтоб на свои...

— Не пойму я тебя, Клавдия, — слышалось в ответ. — В каждом доме тебе жулики мерещатся. Касьян мировой царень. Чемпион района. Заработок у него побольше нашего с тобой. Правится мне тут. Люди они простые, открытые, душевные. А воздух — дышишь не надышишься. Может, переедем, Клав? Я б инженером пошел в колхоз.

— Колхозник мне выискался. Ерунду мелешь. Спи!

Касьян не стал больше слушать, вышел на простор. Горькое чувство овладело им. Ну за каким чертом он должен вмешиваться? Живут они в городе, как кроты, ну и пусть себе живут на здоровье. Мало ли у него своих забот? «Тоже мне попечитель!» — усмехался над собой Касьян. И он решил сказать Нюре, чтобы она выкинула из головы эту блажь. Ну зачем тянуть Клавдию в село, если она совершенно не приспособлена к здешней жизни? Какой из нее тут прок? В доярки ее не пошлешь, а в продавцы сама не пойдет — подавай ей директорское кресло. Да и как она тут жить будет, если даже в нем, Касьяне, жулика узрела?

Накипело на душе Касьяна, однако Нюре он ничего не стал говорить, только попросил, чтоб она постелила ему в саду. Спать в доме не хотелось.

— Чтой-то вздумал? — удивилась она.

— Душно! — соврал Касьян.

— Гляди, ливанет почью дождичек.

— А-а, божья роса.

Пюра постелила ему на столе, где только что пировали. Касьян улется, но долго не мог заснуть под впечатлением печаянно подслушанного разговора. Лежал, как под шатром — так низко прогнулись под тяжестью плодов ветви яблони. Потом горечь потихоньку отступила. Он стал думать о саде. Не очень-то надеялся на него, а он вот какой вымахал. Касьян прислушался к нежному трепету листьев. «Тле-е-сь!» Яблоко, сорвавшись с верхушки, звучно ударилось оземь. «Спелое!» — определил он.

Стояли последние дни августа. Надо снимать урожай.

Гости в доме — забота немалая. Тем более когда они из города. Село им видится в ином «цвете», чем оно есть. А вот в каком, это уж от настроения человека зависит. Всенямину все одинаково хорошо. «Технически вы тут здорово подкованы. Прогресс!» — повторял он. А Клавдия себе на уме, помалкивала, не слесила высказывать свое мнение. Лишь однажды обронила: «Деревня она и есть деревня».

«Ох и довыкобениваешься ты у меня», — подумал Касьян.

Он давно бы высказал Клавдии все, что думал о ней, да Пюра строго-настрого приказала молчать ради приличия. А вообще стоило бы Клавдии врезать. Строит из себя принцессу. Ишь ты, из грязи да в князи. Лю-

ди тут целые города кормят, а ей то не так, другое не эдак. Забыла уже, какого роду и племени. «Можем и напомнить!» --- вскипал Касьян.

По мелочам придиралась Клавка. Вот захали они в магазин. Товаров на прилавках завались, а сй --- выбора никакого. Зато туфли модные --- в свободной продаже, что особенно удивило Клавдию. Почмокала она губами, но опять же на свой лад повернула. Видите ль, поздновато сюда мода приходит. А мода --- это показатель культуры. А какой там поздно, когда вся женская половина села давным-давно щеголяет в этих туфельках. А то, что лежат на полках, объясняется просто: завезли товар с избытком. Но разве втолкуешь это Клавдии? «Мода --- показатель культуры!» --- передразнивал Касьян, лихо закручивая барабку на поворотах.

«Живете вы тут, конечно, как куркули! --- бубнила Клавдия над самым ухом Касьяна. --- Дома с иголочки. У каждого сберкинжка. А вот радости и веселья не чувствуется. Раньше такие гулянья были! Помнишь луга?»

--- Отошли луга! -- бросил через плечо Касьян. --- Но клуб работает исправно. Самодеятельность наша опять на конкурсе завоевала призовое место.

--- Самодеятельность, конкурсы... Это все запрограммировано, --- перебила Клавдия. --- А я совсем другое имею в виду. Чем хороши были луга? Народ там веселился естественно и просто. Непосредственности --- вот чего не хватает современной деревне.

--- Можно подумать, что у тебя се с из-

бытком! — съязвил Касьян и победно глянул в зеркальце, что справа над головой. Увидел, как Клавдия закрутила круглой мордашкой, отметил про себя: «Знай наших». А чего ему с ней чикаться? Она его шныряет, а ему, значит, нельзя. Дудки!

— Злой ты, Касьян! — осердилась Клавдия. Касьян промолчал, а немного погодя предложил:

— Ну как, съездим на луга?

— Можно, — согласилась Клавдия.

«Жигули» свернули с грейдера, пересекли мосточек через речку и выскочили на луг.

— Давай с ветерком! — закричала Клавдия, высовываясь в окно. Касьян поддал газу — встречные струи горячего воздуха взвихрили волосы, обожгли лицо, выжали слезу, другую. Венками покосился на жену, не зная, то ли она дурачится, то ли нарочно высунулась, чтобы не заметили, как плачет.

Клавдия взаправду плакала. Плакала и смеялась, радуясь встрече с родными местами. Это она только внешне пыталась казаться равнодушной, а в душе ее бурлило. Она давно поняла, что совершила непоправимую ошибку, уехав в город. Первое обольщение им прошло быстро. И теперь все ей там казалось чужим и далеким. Даже домашний уют, который она создавала своими руками, не скрадывал этого чувства. Наоборот, с годами ее все больше тянуло на родину, к той жизни, которой она безрассудно пренебрегала. И поэтому не ради моды, а скорее всего для самоутешения появилось желание купить дачу. В последнее время Клавдия совсем

потеряла покой и сон. Это наваждение как-то: закроет глаза и сразу мерещится ей материн дом. А тут еще Нюрины письма... Вконец разбередили душу.

Между тем ветреный ветер высунул слезы. Клавдия заставила себя через силу улыбнуться. Больнее всего ей не хотелось, чтобы слезы видел ее муж. Пащунай он слабицу в ее сердце, давно бы бросил и квартиру, и работу. Сам он не держится за город. Тянет его на простор. Уж сколько раз заводил разговор о перемене места жительства. «Мне все равно куда, — говорил он. — Лишь бы в село». Пастырный, дьявол. В этот раз она уже договорила счет путевок к морю, а он наотрез отказался. «К Коське — и никаких гвоздей!» А она, честно говоря, побаивалась этой поездки. Не очень-то надеялась на себя...

— Тиру-у-у! — затормозил Касьян возле дубовой рощи.

Клавдия сразу узнала заветное место. В пору ее юности здесь проводились массовые гулянья. Обычно это было в майские дни после того, как сойдет с лугов полая вода. Поднимется трава, распустятся колокольчики, лес оденется в зеленый убор. Все цветет и благоухает. Незабываемая пора. Соберутся, бывало, в круг, а кто-нибудь обязательно спросит: «А Коська с двойняшками тут?» — «Да туточки я!» — засмеется Касьян, тенью ходивший за неразлучными сестрами. «Ну что ты в нем нашла такого?» — пыталась поддеть сестру Клавдия. «А ничо! — смеялась Нюра. — У него плечи — во! Есть на что опереться».

Ухаживания Касьяна выглядели буднично, и Клавдия даже не верилось, что из этого может получиться что-то путное. Не верилось еще и потому, что Касьяну предстояла служба в армии. А вот поженюсь. Целых четыре года ждала Пюра своего морячка. «Счастливые, черт!» — с завистью подумала Клавдия. Сама-то она даже не знает: была ли когда-нибудь по-настоящему счастлива. Хотя почему же?

Была у Клавдии первая любовь — Ваня Затонский. Красивый парень. Целый год они дружили. А потом его призвали в армию вместе с Касьяном. Но Пюра дождалась своего суженого, а Клавдия уехала учиться. От парней не было отбоя. Они щеголяли в модных костюмах, и Ваня, ходивший на свидание в кирзовых сапогах, отошел на задний план. Да он и не больно убивался: женился вскоре на приезжей учительнице и уехал с молодой женой на большую стройку. И где он сейчас, Клавдия не знает. А вспоминает его часто. Даже слишком часто.

Клавдия и не заметила, как осталась одна у машины. Веннами аукал в лесу, Касьян отзывался с окрайки. И эти «ау» больно отзывались в ее сердце. Вдруг почудилось ей, что не муж кричит, а Ваня Затонский. Вот выйдет он сейчас с букетом ландышей, улыбнется светло и приветливо, и пойдут они лугом на виду у всех. Клавдия аж зажмурилась и устыдилась своих мыслей. Придет же такое в голову. Ну чего ей не хватает? Муж как муж: заботливый, славный; сын добрым хлопчиком растет. И все-таки чего-то недостает. Чего же? Может, простоты и

непосредственности? Вероятно. Только разве теперь себя переиначишь?

Клавдия задумчиво посмотрела окрест. Скошенные луга, конечно, не так были красивы, как по весне. Сено убрано. Вот-вот сожнут хлеба в поле, лес покроется позолотой и наступят холода. А они скоро наступят. Вон как засуетились над лесом сороки, покидая насиженные места. И хотя путь их недолог — до ближнего селенья, все равно — верная примета осени.

Съездили в райцентр, объехали окрестные деревни, побывали в поле, на ферме. У Венямина поцелуеуго сложилось представление о современной деревне. Кое-что, видимо, приоткрылось и Клавдии: она стала не такой пудилой, как раньше, а может быть, Касьян притерпелся. Во всяком случае если и досаждала, то просьбами: «Свози...» И Касьян безотказно катал родственников, не ведая устали.

Когда все достопримечательности были осмотрены, Клавдия сказала:

— Все, Коська. Свози меня теперь к мамушке на могилку. И больше я с тобой не сздох.

— И правда, свози нас! — поддержала Нюра. — А то я с родительского дня не была там.

Клавдия покосилась на сестру, нет ли в ее словах подвоха: с родительского дня не так уж много времени прошло, а вон она с похорои не была. Клавдия вспомнила последнюю встречу с матерью и запечалилась.

Перейдя на последний курс, Клавдия не поехала на каникулы, как прежде. Сначала она была на производственной практике, а потом ушла в поход. Заехала домой перед началом занятий загорелая, стройная, в брючном костюме, на шее побрякушки разные. Посмотрела на нее мать и говорит:

— Ты учишь, да не заучивайся! Совсем от дому отбилась. Хоть бы карточку помогла выкопать.

— Мне, значит, и отдохнуть нельзя? — скривилась Клавдия. — Ты думаешь, учиться это так себе — бить баклуши? Я тоже за год устала.

— А я не устала? Я, доченька, всю жизнь без отдыха и отпусков. А Юре с Коськой, думаешь, легко? У них свой сад-огород, а, что ни день, бегут подсобить.

— Никто тебя не заставляет держать огород, — рассудила Клавдия. — Ты у них вот бесплатно с внуками нянчишься. Как-нибудь уж прокормят. А я плохой тебе помощник. Не возилась в павозе.

— Вот ты как задела! — осердилась мать.

— Ругай не ругай, а домой не вернусь. — Клавдия вскинула гордо голову.

Вскоре после того разговора Клавдия уехала и не знает, поведала ли о нем мать Юре или нет. Похоже, что нет. Через неделю получила она телеграмму, извещающую о смерти матушки. Приехав на похороны, замкнулась в себе.

«Это надо же, — говорили люди, — из последней копейки выбивалась Митриевна, а дочь тянула».

По молодости Клавдия пропустила этот упрек мимо ушей, но с годами ее стала мучить совесть. Еще и потому, что недолго она горевала о матушке. Возвращалась как-то с занятий, догнал ее парень: «Девушка, познакомимся!» Познакомились ради шутки, а вышло всерьез. Это был Вениамин. Он находился в командировке. Зашел за ней раз, другой. Потом завязалась переписка. А перед самыми экзаменами Вениамин прилетел из Красноярска и сказал: «А я за тобой приехал!» Чудной какой-то. Взял отпуск, чтобы жениться. За ней, конечно, ухаживали и по-симпатичнее парни, но ни один из них еще не сделал предложения. А распределение на посыл.

«Чем ехать опять в деревню, --- решила Клавдия, — лучше выйти замуж».

...Повезло ей с мужем: чуткий, обходительный. Любит ее крепко, во всем оберегает. Вот и сейчас. Вышли они из машины, а он тут как тут, взял под руку, озабочен: на Клавдии лица нет. Зашли на кладбище. Клавдия уже забыла, где схоронили мать. Столько лет прошло. Шли за Пюрой, петляя между оградой. Нашли наконец. За лето на матушкиной могиле выросла сорняк. Пюра открыла калитку и стала пропалывать траву. Следом ступила Клавдия, нагнулась и, ойкнув, опустилась на колени, зарыдала:

— Матушка моя родная, слышишь меня? Прости меня, миленькая.

--- Клавдишка! — крикнула Пюра. Она бросилась к сестре, обняла ее за плечи и тоже заголосила.

Веннами с Касьяном замерли, не зная, что и делать. Потом уж Касьян сообразил. Он оторвал Юру от Клавдии, вывел за ограду, сказал:

— Ты-то хоть не травми душу!

Веннами тем временем уговаривал жену. Паревелась досыта, поднялась и, пошатываясь, пошла к машине.

— Все, сестренка! — сказала вдруг Клавдия. — Вернемся домой, соберем пожитки и приедем. Живу я там как гостя. Все мне опостылело. Куда ни пойдешь — толчея. Суматошная жизнь. Меня там астма мучает. А тут легко дышится.

— Вот и хорошо, Клавунка. — Юра бросилась сестре на шею. — Давно бы так. Поживете сначала у нас, а там свой угол займете.

Касьян с Веннами переглянулись: вот и пойми их, баб, только что голосили, аж мороз по коже, а сейчас хоть зашевай. Сели в машину и покатили домой. В пути договорились: пока женщины будут обед готовить, мужчины съездят в одно место по неотложному делу. Клавдия встретила было предложение в штыки:

— Знаю я ваши дела!

Касьян ее не стал разубеждать.

Главное, было выбить у Клавдии согласие на переезд, а как дальше поступить — его, Коськина, забота. Оставалось переговорить с колхозным начальством о жилье, о работе. И поэтому они держали путь вовсе не в магазин, который имела в виду Клавдия, а в правление к самому товарищу Макушину Алексею Ивановичу.

Председателя на месте не оказалось. Разве будет он расслаиваться в такое горячее время в своем рабочем кабинете? С утра укатил. Но Касьяну повезло. Макушин только что разговаривал по рации с диспетчером: на току он. Сели они с Вениамином на «Жигули» и поехали в поле. Светло-серую «Волгу» Алексея Ивановича настигли по пути на склад. Касьян лихо обошел ее и остановился. Остановился и Макушин.

— Алексей Иванович! — сказал Касьян. — Дело у меня к вам. Вот свояк завтра уезжает.

— Меду, поди, выписать?

— Да нет. Пасчет работы. — И Касьян все рассказал.

Вениамин вышел из машины, представился. Макушин пригладил белую чупрыну, внимательно посмотрел на Коськиного свояка.

— Говоришь, инженер-конструктор? С комбайнового? Вот ты где мне попался, голубчик! Давно собираюсь написать к вам на завод. Что же это вы стряпаете машины с изъяном?

— Чем же это плох наш «Сибиряк»? — удивился Вениамин.

— Всем хороша машина, — сказал Макушин. — Да вот зерно сеет, как из решета. Большие потери. Двадцать точек утечки.

— Дорабатываем узлы, — ответил Вениамин.

— Медленно дорабатываете! — усмехнулся председатель. — И ты хочешь, чтоб я тебя принял? Да ни за что: у нас своих брако-

делов хватает. Хотя, пожалуй, можно взять. Работы у нас уйма: делаем помаленьку кормоцеха, внедряем малую механизацию. На вас, производителей, не приходится надеяться. Сколько лет уже идет разговор об экструдерах, а их до сих пор нет.

— Экструдер? — пожал плечами Вениамин. — Впервые слышу.

— А-а, название мудреное, — пояснил Макушин. — А по-нашему просто: установка для кормоприготовления. Сами взялись было мастерить, да силенок маловато. Нужна нержавейка. А где возьмешь такую сталь? Шефов у нас поблизости нет. Может, у вас там найдется несколько листиков? За ценой не стоим.

— Попробую поговорить! — ответил Вениамин. Непористость председателя ошеломила его. Пробивной, видать, мужик, цепкий.

А Макушин, окинув взглядом худую фигуру Вениамина, поддел:

— Ну и как, насовсем к нам или только подкормиться?

— Да нет, я серьезно настроился! — поспешил Вениамин рассеять его сомнения.

— У меня таких тут столько перебывало транзитом, что я со счета сбился. Ты у жены своей спроси! — посоветовал Макушин. — Я ведь Клавдин сам вызов посылал, а она утекла в город. А у нас как не было грамотного продавца, так и сейчас нема. Ставим за прилавок вчерашних десятиклассниц, но их хватает до первой ревизии. Финансы поют романсы: растрата за растратой.

— Посылайте на учебу. Готовьте для себя кадры, — посоветовал Вениамин. — У нас воп от завода каждый год поступают в институты.

— Мы тоже направляем, платим стипендии, да что толку, — махнул рукой Макушин. — Девчонок хоть не посылай: получают диплом — и до свидания! А парней не густо. Да они и не больно рвутся к учебе: рядовой механизатор больше любого инженера зарабатывает. Трудностей у нас много. Подумай хорошенько, взвесь как следует.

— Ну вот, пугаете меня, — упрекнул председателя Вениамин.

— Не пугаю, а ввожу в курс дела, — улыбнулся Макушин.

Касьян не вмешивался в разговор, слушал внимательно. Он очень обрадовался, когда председатель сказал Вениамину на прощание:

— Переселжай. Квартирой обеспечим, работу жене найдем!

Расстались Макушин с Вениамином как старые приятели. Отъехав немного, свояк сказал, не скрывая своего восхищения:

— Хороший мужик!

— Голова! — подтвердил Касьян. — Кандидат наук. Если хочешь знать — ты для него находка. Это он только виду не подает, что обрадовался. Еще бы: инженера-конструктора сосватал в колхоз.

— Ты думаешь?

— Не думаю, а знаю. Хитрый. Это он тебя сыграть решил. На твердость духа. — Касьян засмеялся, а Вениамин крепко задумался над его словами.

— Ну, Клава, пляши! — подстунил Касьян к родственнице. — Хоть сейчас принимай магазин!

— Боязно, — засомневалась Клавдия. — Один раз переехать все равно что погореть.

— Что тебя удерживает? — спросила Нюра. — Семья небольшая, самый раз.

Клавдия слушала.

— У меня там крупный магазин, не то что здесь. Квартира хорошая: в центре города, со всеми удобствами.

— А у нас тоже водопровод тянут, — сказала Нюра. — Газ привозной, но какая разница? Котельную строят. Не правится в селе, устроишься в райцентре. Тут езды-то десять минут на автобусе.

— Не знаю, надо подумать! — уклончиво сказала Клавдия.

— Ну чего ты заартачилась? — не выдержал Вениамин.

— Ес, поди, галюни смущает, — вставил Касьян. — Так мы поправим это дело: утеплим, под общую крышу подведем.

Нюра одернула мужа, но остаток вечера все равно прошел в бурных спорах. Хозяева дома всю расписывали прелести сельской жизни. Вениамин поддакивал им, а Клавдия выставляла свои новые доводы, чтобы не спешить с переездом. Она вдруг вспомнила о Мишеньке, который учится в музыкальной школе.

— Я с таким трудом его устраивала, а теперь все насмарку полетит.

— Ну что ты, ей-богу, как маленькая! — сказал Касьян. — Да есть у нас «музыкалка». И никакой очереди.

— Ну ладно, — сказала Клавдия. — Вас не переспоришь. Приедем домой, там и решим, как нам поступить.

А на следующий день были проводы. Нюра насыпала сестре отборных яблок, готовила на дорогу жареных кур, яиц, меду, испекла каравай. Сели за стол, и Касьян опять забалагурил:

— Клавк, а ведь за тобой должок водится, — сказал он, хитровато прищурив глаза.

Клавдия аж поперхнулась, взгляд растерянный. На что это он намекает? Может, на то, как помогал ей, когда она была студенткой?

— Да-да, — засерзала она. — Я еще студенткой была... общала...

— Да я не о том! — качнул головой Касьян. — Поцелуй за тобой. Помнишь свиданку...

— А-а, — пришла в себя Клавдия. Успокоилась немного, вспомнила девичьи проделки. Однажды они решили подшутить над Касьяном. Нюра с Клавдией очень похожи. Это сейчас Клавдия располнела, а тогда их мало кто различал. Так вот, заходит как-то Касьян вечером за Нюрой, а она и говорит: «Клав, иди покалякай с ним. Он не заметит». Накинула Клавдия Нюрин полushалок, вышла. Стоят переговариваются. Все бы ничего, но Коська полез целоваться, Клавдия испугалась и убежала.

— Клавк, а ты ведь не все рассказала, — рассмеялся Касьян.

Клавдия зарделась, как маков цвет, сделала Касьяну знак, чтоб молчал, но тот, буд-

то не заметив, повернулся к Веннамину и говорит:

--- Видишь, у твоей родника на верхней губе. Я ее сразу приметил. У Нюры такой нет. Думаю, раз вы, то и я... А она как взвизгнет и бежать. Я ее головой в сугроб, да еще сыпанул снежку за шиворот. Больше не разыгрывала.

Веннамин со смеху чуть не свалился со стула. Нюра зажала рот ладошкой, выбежала из-за стола, а Клавдия застыла, как мушкетер.

— Хоть бы детей постеснялся, -- выговорила она Касьяну.

— А что дети? -- улыбнулся тот. — Должны понимать, что к чему. Пусть знают: мы тоже не ангелы и пошутить умеем.

Потом пришел час расставания. На вокзале Веннамин снова завел разговор о переезде в деревню. Касьян заверил свояка: угол ему будет обеспечен на первых порах.

— Цены тебе нет! -- растрогался Веннамин. — Все у тебя легко да ладно, не то что у меня.

Веннамин вдруг заволновался, подошел к Клавдии.

— Клав, у меня душа не на месте. Остаюсь я тут!

— Как останешься? А мы? -- вскинула брови Клавдия.

— А вы поезжайте. Распродай там все, возьми с собой самое необходимое и скорее возвращайся сюда.

— А как же твой завод?

— К черту завод! -- вскрикнул Веннамин. — Конструкторы и тут нужны. Заявле-

ние я тебе сейчас напишу. Пусть считают это патристическим порывом. Отпускали же людей на целину! И меня отпустят! Отпустят, Коська, а?!

— Ну что ты мелешь? — осердилась Клавдия. — К чему такая спешка. Вот приедем...

— Не-е, Клавдия, — погрозил Вениамин. — Знаю я, как ты решишь. Это ты только здесь так говоришь, а приедем — тыщу причин найдешь, только б не ехать. Все — баста! Остаюсь! — И Вениамин пошел по перрону обратно к машине. Клавдия догнала его, вцепилась в рукав, потянула назад, приговаривая: «Стыдобушка-то какая...» Вениамин уперся, ни в какую идти не хочет.

«Характер показывает», — подумал Касьян. Махнул рукой, обнял свояка и повел назад. А тут и поезд подошел. Кое-как втолкнул Вениамина в вагон. Даже не попрощались по-людски. Пюра залилась слезами. Касьяну жаль ее стало. Прижал слегка к груди жену и услышал, как стучит сердце. «Тебе нельзя волноваться», — шепнул он и повел ее по перрону.

— Ой, а хлеб-то! — вскрикнула вдруг она, увидев на сиденьи каравай. — Забыла о нем впоныхах.

— Тоже мне печаль! — сказал Касьян. — Голодовка, что ли? На любой станции купят сайку или батон.

— Как думаешь, приедут? — спросила Пюра, думая о сестре.

Касьян взял каравай, раскрыл складной ножичек и отрезал ломоть, но есть не стал, а

приставил его обратно. Передавая каравай Нюре, сказал:

— Видишь, целого уже не получается. Так и Клавка твоя. Отрезанный опа ломоть. Я тебе сразу говорил: пустая это затея.

...Поезд они нагнали почти у самого села. Поравнялись с ним. Из вагонов приветливо замахали пассажиры. Нюра прищелкнула к стеклу: не мелькнет ли в окне знакомое лицо сестры. Но разве разглядишь на таком скаку? Потом дорога круто свернула вправо, а состав пошел влево. Нюра проводила его печальным взглядом. Касьян хотел остановиться, но передумал: зачем волновать лишний раз жену.

Балалайка

Никогда не забуду, как вернулся с войны отец. Воскресным майским днем дверь нашего дома широко распахнулась и на пороге появился мужчина в красноармейской форме. «Гриша!» — мать ойкнула и от неожиданности растерялась, а я крикнул: «Папка, папка пришел!» Отец подхватил меня и взметнул к потолку, приговаривая, как здорово я вымахал за эти годы. Вдруг он сказал мне:

— А ведь у меня для тебя подарок...

Только тут я обратил внимание на вещмешок, в котором топорщилось что-то длин-

ное и угловатое. Пока отец распутывал затянувшийся узел, я сгорал от нетерпения и любопытства, что же там может быть.

— Ну-ка, держи! — И отец вытащил из вещмешка балалайку.

— Вот кстати-то! — улыбнулась мать и пошла собирать на стол, а мы принялись настраивать музыку.

Балаласчка была новенькая. От нее еще пахло смолой и лаком. Колки в два ряда. Я был без ума от шестиструночки. Отец подал мне свернутые в колечки, чтобы не порвались в дороге, струны. Я раскручивал, а он натягивал, пробуя звук. За этим занятием нас и застала тетя Катя.

— С возвращением, Григорий! — сказала она, поправляя на голове черный платок, и — матери: — А тебя, Анна, с радостью большой.

Отец отставил балалайку, по привычке расправив под ремнем гимнастерку, пошел навстречу гостье, протягивая руку, но та упала ему на грудь, повисла на плечах, запричитала. Родители усадили ее, утешили, как могли, мало-помалу завели разговор.

— Не знаю, с чего начать, Катюха, — несмело сказал отец. — Расстались мы с твоим, когда его в госпиталь отиравли. А вскоре и меня ранно. А когда вернулся в батарею, узнал, что нет Михаила. Весь их расчет скошили.

Отец замолчал, но, взглянув на скорбное лицо тети Кати, вновь заговорил о дяде Мише, какой он был бесстрашный и умелый воин. Однопольчане любили дядю Мишу. За справедливость и простоту. За честность. А

весельчак был, что Василий Теркин. Все с гармонью.

— Где ж его искать-то теперь? — спросила тетя Катя подавленным голосом.

— Далеко, Катюха, за Познанью.

— Господи! — вскрикнула тетя Катя. — Хоть бы на родной стороншке. Я бы съездила, могилку обиходила, поплакала бы, поговорила с ним. А то ведь на чужбине. Разве доберешься туда.

Она снова залилась горькими слезами. А я вдруг вспомнил прошлогоднее происшествие.

Отец уже присылал мне подарок с фронта — губную гармошку. Вернее, он передал ее с дядей Мишей Васильковым, приехавшим на побывку. Вся округа знала его как лучшего гармониста. А он от радости, что свиделся с родными местами, растянул свою двухрядку, сбегался стар и млад послушать, о чем поет бывалый солдат.

Второй раз за всю войну в нашем селе зазвучала музыка. Но если в сорок первом гармонь сулила легкую победу, теперь страшную цену ее лучше всех знал сам несунывающий обладатель хромки. Зато уже не стало таких, кто бы сомневался в исходе войны. Музыка как будто приближала заветный час победы, тесня и приглушая людское горе и страдание.

С отъездом дяди Миши село снова погрузилось в тишину. Но вскоре внимание людей привлек я.

Губная гармоника — инструмент неказис-

тый, детская забава, по крайней мере так многие считают. А Митя Лиханов, чудом вырвавшийся из плена, прямо сказал: «Фрицевская штука! Лучше не показывайся на глаза со своей пиликалкой. Меня от этой музыки в дрожь бросает... нас собаками травили, а сами на губотерках паяривали».

Мне и самому не нравилась «губотерка». Это, конечно, не гармонь и даже не балалайка. Но что делать, если нет ни того, ни другого, а играть страсть как хочется. Попробовал раз-другой, вроде получается. Разучил «Огонек», «Катюшу». Заиграю, мать поднесет да еще похваливает: «Вот отец обрадуется!» Не заметил, как вошел во вкус. Куда бы ни шел, гармоника всегда со мной.

Иду как-то по улице, наигрываю военные песенки, встречаю Митю. Правая рука у него на повязке — раненая. Поманил меня левой рукой и взял гармонку. Я стоял перед ним ни жив, ни мертв, с ужасом думая, что будет сейчас с ней: грохнет оземь, и полетят золотые планочки. Однако Митя повертел в руках гармонку, провел раза два по губам и возвратил.

— А ты мастак, — потрепал он меня за вихры. — Я думал, она только по-ихнему играет.

После такого благословения авторитет мой еще больше укрепился. Девчата повзрослее зазывали меня наперебой. Им что: лишь бы повеселиться. А у меня временами даже губы всухали от этой гармошечки. Но я все равно играл безотказно.

Чаще всего девчата собирались возле Митино дома. Невест подросло много, а

женихи еще воевали, вот и тянулись к Митя. Наверное, за него любая пошла бы, но он ни одной не сделал предложения. Мать говорила, что Митя своего ранения стесняется, а тетя Катя рассказывала, что та, которую он любит, на гулянки не ходит. А о ком шла речь, я не понял.

Однажды играл я на своем инструменте, а девчата мучили Митю: тянут его поочередно в круг или объявляют танец с «хлопками» и отнимают друг у друга партнера. Не дают передохнуть человеку. Я не выдержал и бросил играть, сказал, что у меня засорилась гармоника, и даже стал прочищать ее для вида. А тут мать с тетей Катей шли с работы. Остановились и спрашивают Митю: правда ли, что наши войска вышли на границу с Германией. Митя подтвердил, а тетя Катя вдруг спросила меня:

— И «барыньку» можешь?

— Все он может! — погладил меня по голове Митя и озорно подмигнул, дескать, давай плясовую.

Уговаривать меня не надо. И только я поднес к губам гармошечку, как тетя Катя подбочилась и, легко перебирая ногами, пошла по кругу, увлекая за собой маму. Вы бы видели их в ту минуту. На маме была белая кофточка и черная юбка, а на тете Кате платье-сарафан. У обеих длинные косы. Даже лицом они были похожи друг на друга, наверное, потому, что были молоды и красивы. У мамы слетела с ноги туфля, она сбросила и вторую, затопала босиком по пыли. А тетя Катя приостановилась и пропела:

Черемуха цветет,
Черемухой пахнет.
Скоро милый мой придет
В серенькой паначе.

Теперь настал мамин черед. Она приосанилась, тряхнула головой, и частушка у нее получилась озорной и задорной:

Полубила лейтенанта,
А майор мне говорит:
«У меня ремень пошире
И звезда ярче горит».

Так они и плясали с «прибасками», а Митя, посадив меня на колени, все повторял: «Вот бабы, сила-то в них какая. С ними мы любую беду одолеем!»

Вдруг кто-то произнес: «Горюха идет!» Мама с тетей Катей застыли, как по команде, а я еще играл. «Тише ты!» — зашикали на меня со всех сторон.

Горюха — почтальонка. Настоящее ее имя Варя. Она — беженка. Отца с матерью потеряла, жила с Авдотьей — одинокой набожной старухой. Семнадцать лет девочке, а лицо темнее тучи. Варю жалели и побаивались ее появления. За хорошую новость называли ласково Варюхой. Если проходила мимо, спрашивали, зазывая: «Варенька, что давненько не заглядывала к нам?» Но если принесет в дом печальную весть, вслед скажут: «Горюха».

Увидев ее, Митя вышел вперед, хотел что-то сказать, но она торопливо отдала ему стопку писем... «Ох, не к добру», — тяжело

вздыхнула мать. Письма быстро расхватили. В руках у Миши осталась одна похоронка тете Кате...

С той поры я не брал гармонику в руки, а тетю Катю обходил стороной. Однажды все-таки решился поиграть дома, но обнаружил, что «губотерка» поржавела. Разобрал до винтика, пытался прочистить, но поломал планки. Бился-бился, так и выбросил. Теперь у меня была балалайка.

В один из дней к нам зашла тетя Катя. Увидела у меня в руках инструмент, спросила:

- А что, Анна, кроме трень-бреньки твоей ничего не привез?

Слава богу, сам вернулся, — ответила мать.

— А другие и сами, и с возами. Матвей Пшенкин — слыхала?..

Мне стало тошно слушать, и я изо всех сил ударил по струнам.

--- Да перестань ты! — бросила она сердито. — Разбренчался. Старинушка-лучинушка. Мой Миша, бывало, как заиграет — душа радуется.

Слова ее обидели меня. Как я ни любил свою балалайку, но мысль о том, что на свете есть инструмент лучше, расстроила меня. И мой отец мог бы привезти трофейную гармонию. Он сам говорил, что после гибели дяди Миши берег его хромку, но перед демобилизацией она бесследно исчезла. «Наверняка какой-нибудь Пшенкин прибрал ее к рукам», — думал я после ухода тети Кати. Мать успокоила меня:

— Не сердчай, сынок. От горя человек по-

неволе грубест. А балалаечка твоя --- прелесть. Игралась ты на ней душевно. Все бы слушала...

Не верить матери я не мог. Я снова взял в руки балалаечку, и дом наполнился звонкой и радостной мелодией.

Время шло. Я пошел в школу. И тут пригодилась моя шестиструночка. Без нее не проходил ни один праздничный концерт. Отец помогал мне разучивать новые мелодии и однажды сказал:

— Сынок, пора кончать с самодеятельностью.

— Как? --- спросил я.

— Если хочешь всерьез заниматься музыкой, осваивай нотную грамоту.

Ах, эти сельские посиделки! Долгими зимними вечерами собираются девчата по соседству, чаще в доме одинокой женщины, вяжут пуховые платки, занимаются другим рукоделием. В этот день молодежь не идет в клуб. Парни табунками бродят по селу, заранее узнав заветные местечки. Не в каждом доме они желанные гости, но в конце концов находят пристанище. Отвергнутые в отместку иной раз подкатят телегу к сеним либо припрут входную дверь. Бывают и грубее проделки, но святилище посиделок не смеет нарушать самый отпетый хулиган.

В юности я провел на них много вечеров, но не забуду первого, когда меня зазвала тетя Катя. Слома голову бежал к ее дому по выбитой в снегу тропинке. Ветер пощипывал струны, и они пели какую-то таинственную

мелодию, а я боялся, как бы они не лопнули на морозе.

Девчата уже ждали. Они помогли мне снять пальто, угостили леденцами, и пока я отогревал заочевшие пальцы, шутливо рядился, кому взять меня в женихи. Спор прервала Горюха. Она села рядом и твердо сказала: «Мой». Она по-прежнему работала почтальоном, но незаметно из «горюхи» превратилась в писаную красавицу. Бывало, не улыбнется, а сейчас щебечет без умолку.

- - Давай, Витюша, страдаем!

Я заиграл «Страдания», и Горюха запела весело и задорно:

Балалаечка играет,
Балалаечка поет.
Пусть подруженьки узнают —
Ко мне миленький идет.

Во время проигрыша откуда-то из-за ставней допелись глубокие и мощные аккорды. От неожиданности я перестал играть. Все прислушался. Мелодия приближалась, и я безошибочно определил — аккордеон. Девчонки привстали, заперешептывались, бросая лукавые взгляды на Горюху. «Варька, никак твой вздыхатель идет!» - - сказал кто-то. Ни у кого, кроме Ленки, не было аккордеона. Я рассердился на тетю Катю и на себя. Поманила, а хромку упрятала. И с Пшеничным мне не тягаться со своей балалайкой.

— Играй, Витюша, — невозмутимо сказала Варя.

Я играл, низко склонив голову, и не ви-

дел, как входил Леняка с дружками, только слышал, как он куражился у двери, требуя особого внимания. Потом почувствовал на себе его тяжелый взгляд. Бесцеремонно потеснив меня на лавке, он пробасил:

Балалаечка — трех струн.
Кто играет, тот — свистун.

Я сгорал от стыда и унижения, и только гордость не позволяла расплакаться. Умоляюще посмотрел на тетю Катю, лежавшую на печке.

— Залезай сюда, — сказала она спокойно, будто ничего не произошло.

— Так-то лучше, — буркнул Леняка. — Сиди и отгадывай. Из-под печки глядят две овечки. Что это такое?

Я уткнулся в подушку и вскоре немного успокоился. Клонило ко сну. Но тут все зашумело, начались игры.

Леняка поставил лавку на середине избы, оседлал ее, а Варюха села к нему спиной. Если играющие повернут головы в одну сторону, то должны поцеловаться. Трижды Леняка старался угадать Варюхины движения и всякий раз невпопад.

— А-а-а, у тебя глаза на затылке! — заржал он и, грубо схватив Варюху, поцеловал.

— Это не честно! — вырвалась Горюха. Игра расстроилась, но вскоре начали новую. Один из Ленякиных дружков спрятал в одежде булавку, а Варюхе выпало искать ее. Леняка растянул мехи и заиграл «Светит месяц». Играл, фальшивя, по мере того, как Варя приближалась к заветному месту, да-

вил на клавиши сильнее. Так что всем стало ясно, где искать.

— Если бы не тетя Катя да Витюша, — отступила Горюха, — спустила бы с тебя штаны.

— Не посмеешь! — подзадоривали ребята.

— Ах так! — Варюха решительно направилась к водящему. — Теть Кать, закрой глаза Витюше, на все село опозорю, чтобы не нарушали правила игры.

— Дьявол, а не девка! — под общий хохот отступил парень.

Повальсировав немного, девчата снова расселись по местам, а Ленька удерживал сопротивляющуюся Горюху возле себя. Рассердившись, отпустил, и по сигналу парни шумно поднялись и вышли. А Варя занела:

Гармонист, гармонист,
Ты играй, старайся,
Если хочешь быть любимым,
То не задавайся.

Ленька хлопнул дверью, увлекая за собой ватагу, а девчата занечалились, стали выговаривать Горюхе, дескать, несговорчивая. И чем не нравится Ленька? Не вытерпела Варюха, ответила подружкам:

— Мне б такого хлопчика, как Витюша. С балаласчкой. В ней душа русская.

Я мигом слетел с печки и занял свое законное место, весь вечер не выпускал из рук шестиструночку. Девчата пели и смеялись, а я играл без усталости и чувствовал себя победителем.

Через год я научился играть на ногах. Участвовал в смотрах детской самодеятельности и даже стал победителем областного конкурса. Мать сияла от счастья и, кто бы к нам ни пришел, показывала мою награду — диплом.

— Тебе, брат, надо идти по музыкальной части, — сказал как-то Митя. — Только бала-лайка — не ходовой инструмент, проси у отца баян или гармонь.

Легко сказать «проси». У меня появился брат, а мать снова ходила с округлившимся животом и обещала к осени родить девочку. Меня это радовало и огорчало. Я был не такой маленький, чтобы не понимать, что в доме один кормилец — отец, значит, о гармошке нечего и помышлять. И все-таки однажды, набравшись храбрости, я завел разговор за обедом. Отец положил ложку, задумался:

— Гармонь, говоришь? — И замолчал.

Я глядел на пустую ложку, робяя поднять глаза.

— Может, с Катериной поговорить? — подала голос мать. — Михайла уже не вернешь.

Я ожидал отказа или нахлобучки за дерзость. И стало стыдно, что я так плохо знаю родителей. Но... Я представлял, как держу в руках дядь Мишину гармонь, и сердце ликовало.

— Пустой разговор. — Мать ни с чем вернулась от тети Кати. — И слушать не хочет. Память, говорит, при мне покрыла кружевами.

— И если бы на ней играли, это была бы память, — заметил отец. — А так — вещь. Ве-

щи --- не вечны. Сам попробую уговорить.
Но и отец вернулся без гармонии.

— Вот что, сынок, потерпи до осени. Подрастет Бодун, свезем на базар и купим тебе хромку.

Бодуном звали козла. Перед каждым встречным он угрожающе мотал головой, вызывая помериться силами. Мать не раз предлагала зарезать его, опасаясь, как бы он не запорол острыми рогами кого-нибудь из малышей. Отец все отнекивался, и его решение ошеломило меня.

Длинным показалось мне лето. Я торопил заветный час. Но в тот день, когда участь Бодуна была определена, козел так ревел, что отец хотел было отказаться от своей затеи, отчего я залился слезами, и в конце концов было решено покупать гармонию.

С базаром мы, конечно, припозднились. Весь мясной ряд был уже занят. Отец пристроился на краю длинной прилавка. Неподалеку уже всю торговал Матвей Пшенкин. Отец справился о цене и стал рубить тушку. Разложил куски на прилавке, спросил меня:

— Как, сынок, может, скостим немного? А то до вечера простои.

Торговля пошла бойко. Нашему примеру последовал сосед, за ним другой, третий... Тут подлетел к нам Пшенкин.

— Продешевить, Григорий! — процедил сквозь зубы.

— А нам не богатеть. Лишь бы из нищеты в бедноту перебраться! — не таясь, во весь голос ответил отец.

Шутка поправилась. Покупатели засмеялись. Пшеникин побагровел и попытался ухватить отца, но тот ловко отвел его руку и потряс безменом с увесистой шишкой на конце.

— Не шали, Матвейка, а то оглоушу.

— Ну и торгуй козлятиной! — пятась, произнес Пшеникин.

— Сам ты козел! — крикнул кто-то из покупателей.

Через час, подсчитав выручку, мы поспешили в универмаг. У ворот я невольно оглянулся. Места за прилавком поредели. С нашей стороны остался один Пшеникин. Его откормленная физиономия венчала сложенные пирамидами куски мяса. Он упорно не хотел сбавлять цену.

А мы шли к заветной цели. Вдоль церковной ограды, по парку, усыпанному опавшей листвой, туда, где покоилась на прилавке в ожидании будущего хозяина новенькая хромка. Каково же было разочарование, когда оказалось, что в магазине не осталось ни одной гармони.

— Было штук пять, — посочувствовала продавщица с пышной прической. — Так еще утром разобрали.

У меня потемнело в глазах. Горький ком подкатил к горлу.

Не помню, как мы выходили из универмага и что говорил отец, пока возвращались на базар, зато хорошо помню: на полпути нас догнала тетя Катя и, тяжело дыша, сказала:

— Уф-ф, а я с ног сбилась. Григорий, разбередил ты душу своими речами. Так и

быть: бери гармонку. Пусть малец играет, может, и мне в радость будет.

— Ну спасибо, Катюха, — облегченно вздохнул отец. — Выручила меня. В магазине-то шаром покати. Гармонки ныне в моде. А за платой мы не постоим.

— Какая плата. Перекроешь крышу — и спасибо. А на деньги купи что-нибудь ребятишкам.

Домой возвращались вместе. Раза два тетька Катя затевала разговор, как узнала о нашей поездке, как все у нее перевернулось, и она побежала следом. Бежала и дивилась: это ль не сумасшедший мужик — последнего куска лишается из-за музыки.

— Что с Матвеем сделалось? — спросила тетька Катя. — С войны без царапины пришел, а слова не скажи, трясется, как больной. Хотела про вас узнать, а он в лице переменялся и выругал меня.

Посмеявшись, отец рассказал про торговлю, ссору с Матвеем и заключил:

— Хапать будет поменьше.

— А ты простодыра, — незло сказала тетька Катя. — На уме балалайка да гармонка. И не подумасешь, что на войне был.

— Знаешь, Катюха, в ком что есть, не переиначишь.

— Да, много цветов немцы погубили, а чертополох еще остался, — пригорюнилась тетька Катя.

— Без разбору косили, — возразил отец. Вот так мы ехали.

И я помню небо над головой синее-синее, с летящими по нему журавлями. Стояли последние дни бабьего лета, и птицы то-

рошилсь на юг. Вот-вот должны были наступить холода, но их приближения не чувствовалось. На полыньке, словно оборванные струны, висели нити паутины.

Я смотрел и без сожаления мысленно прощался с балалайкой. Зачем она мне, если в мою собственность переходит дядь Мишина гармонь?

Тогда я еще не задумывался о будущем. Жил беззаботно, наслаждаясь настоящим. Гармонь мне вскоре наскучила, переключился на баян, затем пристрастился к аккордеону, наконец занялся гитарой. Но за какой бы из инструментов ни брался, ни один не давал мне такого уноения, как балалайка.

— От скуки на все руки, — не одобрял меня отец. — Давай определяйся, займись полезным ремеслом. А начнешь за модой гоняться, потеряешь себя.

Подарив гармонь, тетя Катя чуть ли не каждый день прибегала послушать мою игру.

— Как кувы-кувы получается? — интересовалась она. — Мишу бы мово сюда.

Как-то в День Победы возле нашего дома собралась стар и млад. Известно: где гармонька, там и веселье. Подошел и Митя, подсел к отцу:

— Я подумал: не Мишка ли вернулся. А это твой шарит.

— Тинне! — одернул его отец, кивая на тетю Катю. Но она не слышала мужского разговора, весело смеялась. Вдруг встала, подошла ко мне, попросила:

— Ну-ка, Витюха, плясовую.

Я развернул мехи, и тетя Катя поплыла по кругу величаво и гордо. Остановилась перед мамой, но та засмеялась, показывая на живот. Тогда тетя Катя одна отплясала за двоих.

Из колодца вода льется,
Вода льется-сочится,
Хоть и жизнь у нас такая,
А влюбляться хочется.

Вместо мамы в круг выскочила Горюха, тоже сыпанула озорной частушкой:

Я на горку шла,
Я Егорку ждала,
На себя как погляжу —
Вся зарева на хожу.

Отец принес балалайку, играли «краковяк», «Амурские волны». Я удивился, как ладно у нас получалось. Особенно старательно я подыгрывал любимой песне отца «Среди долины ровныя». Он солировал, а я слегка, с трепетом перебирал клавиши, боясь ошибиться и испортить песню.

А балаласечка так и выговаривала каждое слово, грустила и плакала, что, казалось, всех заворожила. На лицах уже не было скорби и боли, что доводилось видеть раньше. Война осталась позади.

Горсть жареной пшеницы

Как-то приехал я в родное село на побывку отдохнуть немного от городской суеты. Но в деревне забот несколько не меньше. На полях уже всюду убирали хлеба, а у матери еще не выкошено сено на задах. Взял я литовку, только сделал прокос, как услышал тревожный голос:

— Сынок, никак пожар!

За лесопосадкой, заслонявшей железнодорожное полотно от снежных заносов, клубился черный дым. Сначала я подумал: поезд идет, там подъем крутой, вот и пыхтит локомотив. Но черное облако разрасталось, заслоняя небосвод.

— Где у нас лопата?

Лопата оказалась под руками. Я сел на велосипед и поехал, изо всех сил нажимая на педали. В самый разгар подоспел. На краю вспыхнувшего пшеничного поля уже стояла пожарная машина. Неподалеку, за линией, находился ток, и все, кто там работал, прибежали сюда. В ход пошли лопаты, грабли, метлы. Кто что успевал прихватить, тот тем и орудовал.

Помощь была как нельзя кстати, ибо одним пожарникам наверняка не справиться бы. Всем пришлось бы туго, не окажись поблизости Ваня Соколов, мой давний приятель. Он нахал на соседней делянке и, не раздумывая, направил свой трактор по хлебному массиву наискосок, спеша отсечь бороздой накатывавшийся огненный вал. Ваня бы

вполне успел, если бы не заглох мотор. Старенькая машина не выдержала напряжения.

— Ванятка! Беги, сгоришь! — повис над полем женский крик.

Кричала Катя, сестра Соколова. Она бросилась было к нему, но ее удержали.

Не знаю, слышал ли ее крик Соколов, во всяком случае, он занимался своим делом — заводил пускач. Трактор вскоре заурчал, но время было упущено. На самом финише губительное пламя полыхнуло над трактором, кабину обволокло дымом, и машина потерялась из виду.

— Ванятка! — опять прокричала Катя.

— Да живой он! Вишь, скачет! — успокоил ее кто-то.

Ваня прыгнул в пшеницу и бежал вдоль огненной змейки, не теряя из виду силуэт рокочущего трактора, а когда машина вынырнула из дыму и огня, вскарабкался в кабину, развернул трактор и снова повел его наперерез огненному смерчу. На этот раз Соколов достиг цели. Огонь уткнулся в сомкнутые борозды и потихоньку стал умирать. Лишь в двух местах переметнулся змейками, но их потушили из брандспойта.

— На коня моего плесните! — закричал Ваня, прыгивая на землю. Пожарники стегнули из брандспойтов по кабине и гусеницам, клубами повалил пар, а когда он рассеялся, все увидели: краска на кабине и капоте облупилась. Каким-то чудом не вспыхнул бак, случилось бы это — несдобровать Соколову.

— Ванятка, да ты горишь! — подбежала

вдруг к брату Катя. У Соколова уже полбрючины истлело — не заметил, когда лизнуло пламя. Катя в слезы, и Ване, по всему виду, не сладко, однако терпит, пытается шутить.

— Бабоньки, гоните вазелинчик! Марафет наводить буду.

— Поди, нельзя вазелином-то? — возразил кто-то из женщин.

— Эх, пожалели! — подначивал Ваня. — О красоте своей печетесь. А тут хоть помнирай.

Шутки шутками, а в конце концов решили, что надо Ваню срочно везти в больницу. И я повел его к машине.

— Жжет, зараза! — морщился Ваня. — Вот елки-моталки, прямо как фашист пролетел, — кивнул он на почерневшее поле. — Помнишь?

— Как не помнить? — сказал я, подсаживая его в кабину.

Ваню увезли, и вскоре все разошлись, а я долго еще ходил по обуглившемуся полю. Местами на нем оставались кустики пшеницы с опаленными колосками. Я срывал колоски, растирал их в ладонях и, набрав щепотку зерен, бросал в рот. Забытый вкус жареной пшеницы вдруг вернул меня в детство, в мельчайших подробностях возникли в памяти события военной поры.

Ясным августовским днем сорок второго года мама сказала, что если я захочу, то могу поехать с ней в поле с ночевьем. Да не на

одни сутки, а на целую неделю, а то и больше. «Пока хлеб не уберем», — уточнила она. А мне только того и надо было. Я с радостью согласился еще и потому, что вместе с нами должен был ехать Ваня Соколов, мой дружок закадычный. О своем старшем брате, тоже Ване, я уж не говорю: он-то обязательно поедет. Хотя мой брат был еще подросток, с тех пор, как началась война, он работал в колхозе наравне с женщинами. Я очень гордился, когда Ваня брал меня в поле и давал покататься на лошадях.

Принесли мы в бригадную, а там уже выстроился обоз, незапряженной оставалась лишь наша повозка. Бригадир Фрол Иванович Шуваев, бородатый, как Дед Мороз, помог маме надеть ярмо на непослушных быков, сам сел на переднюю подводу и озорно крикнул:

— И э-э-эх, поехали! Не жизнь, а малина: сорок девок — один я.

На повозках сидели женщины да дети. За огородами к нам подсел тетьа Лена Соколова с Ваней и маленькой Катюшей. Ваня сразу же придвинулся ко мне, в погонщики, а Катюшу взяла на руки моя мама. У тети Лены зимой погиб муж на фронте, и мама жалела ее. Еще бы: осталась с двумя маленькими ребятами, и бабушки нет. А у нас была бабушка. Она даже собиралась поехать вместе с нами, да сестренка, такая же крохотная, как Катя, заболела, и они остались дома.

На передней повозке рядом с Фролом Ивановичем села его жена — бабка Лукерья, а замыкал обоз мой брат. Рыдван его

был нагружен с верхом. Чего только туда не наклали: колья для шалаша, разную утварь, без которой в поле не обойтись, — лопаты, вилы, грабли, косы, ведра, ковши, запасная сбруя для лошадей, два ярма, кантарные весы с большими бадейками и огромный котел. Бабка Лукерья больше всего беспокоилась за котел.

— Ванюшка! — кричала она. — Смотри у меня, котел не потеряй!

— Тетка Лушка, а это, случаем, не он катится? — смеялась мама, показывая на небо.

— Ну как он самый! — жмурилась бабушка Лукерья от яркого солнца. — В чем же я теперь кашу варить буду?

— В пригоршне! — заключила тетя Фрося Хиленькая, пересаживаясь на ходу к нам. — Споем, подруженьки. — И она затянула песню о солдате, который после долгой службы вернулся в родные края. Пришел он домой и видит: встречает его на пороге молодая жена. Назвал солдат ее по имени, а она и говорит ему: «Не жена я, а дочь твоя».

Песня была длинной и такой грустной, что, когда она смолкла, мне захотелось плакать.

Я подумал о своем отце, лицо которого уже стал забывать. Неужели так же долго не увижу его?

Потом женщины пели частушки. Тетя Фрося была просто в ударе: она сыпала одну за другой, и казалось, запасы ее никогда не иссякнут. Одну частушку я особенно запомнил:

Бригадир наш бородатый,
Нас везешь, скажи, куда ты?
Нет чтоб к милому свезти,
Говорит он: «Молоти!»

Пронев, тетя Фрося соскочила на землю, подбежала к передней повозке и пу огнелясывать, завлекая Фрола Ивановича. А за нею другие женщины повскакали, чтобы поразмяться, «оторвали» от бригадира «залетку» — бабушку Лукерью, втокнули в круг, а та не растерялась, ответила «товарке», как подобает:

Ах, товарочка красотка,
Береги своево залетку,
А не то, меня прости,
Могу его увести.

Бабушка Лукерья хотела было пуститься вирисядочку, но согнула колени, а встать не может, едва не упала. Ее подхватили под мышки и усадили рядом с суженым.

Шуткам-прибауткам не было конца. Но вскоре показался заветный бугор, где предстояло разбить полевой стан. Мы с Ваней спрыгнули с повозки и с криком «ура!» устремились вперед.

Взлетев на бугор, замерли как завороченные. Покой и тишина. Лишь где-то в траве стрекотали кузнечики да посвистывали суслики, а может, это передразнивали их спницы. Вдруг откуда ни возьмись налетел смерч, взвихрил пыль, встопорщил конны сена, что заготовили на крышу для шалаша, и пошел гулять по иппеничному массиву, сроща колосья, сгибая упругие стебли. Но не

покрутил, а только оставил за собой след, который тут же разгладился, будто бурун в море-океане.

«Бум-бум-бум!» — послышалось вдали. Все насторожилось, прекратили разгрузку, стали оглядываться окрест. Я посмотрел на небо: там не было ни единой тучки. Ничто не предвещало грозы. Откуда же тогда этот гул? Десятки пар глаз уставились вопросительно на бригадира. Что бы это могло значить? Он пожал плечами, сказал:

— Утро вечера мудренее. А теперь за дело: до темноты надо успеть шалаши поставить, к завтрашнему дню подготовиться.

Каждый занялся своим делом: одни строили шалаши, другие расчищали ток, третьи готовили инвентарь. Мама с тетей Фросей сели отбивать косы. Бригадир и мой брат налаживали лобогрейку. А тетя Лена устраивала «детские ясли» в лесопосадке, подвесила зыбочку. Туда потянулись другие женщины, имевшие грудных детей.

И нам пришлось заняться. Бабушка Лукерья попросила меня и Ваню наточить немного пшеницы на кутью. Мы это быстро сделали, а потом стали обжаривать колоски на костре. И так наелась, что не дождалась ужина, и тут же возле костра прикорнули.

Как перетаскивала меня мама в шалаши, я уже не слышал. Проснулся утром от того, что кто-то щекотал меня соломинкой в носу. Открыл глаза, увидел Ваню и быстро вскочил на ноги.

- - Эх, проспали! огорчился я.

— Бежим! — сказал Ваня.

Побежали вдоль лесопосадки наперегонки туда, где уже вовсю кипела работа.

Маму я увидел сразу. На ней была красная косынка. Она шла впереди, а за ней выстроились гуськом остальные женщины. Косари проплыли мимо, как журавли, клинышком.

— Мама! закричал я, стараясь обратить на себя внимание. А мама даже головы не повернула, чтобы не нарушить четкого строя и ритма. «Вжик-вжик-вжик!» — словно по команде ходили косы, подрезая податливые упругие стебли. Они ложились аккуратно в валочек, колос к колосу, словно их причесывали гребенкой. Но валок тут же разбирали другие женщины, ставя снопы.

— А вот и помощнички явились, — сказал Фрол Иванович. — Ичас мы спытаем их способности. Связа крутить умеете? А снопы вязать?

— Подумаешь, наука, — совсем по-взрослому ответил Ваня. А я на всякий случай стал смотреть, как это делает его мать. Тетя Лена взяла пучок пшеничных стеблей, свила их жгутиком, набрала оберемок колосьями в одну сторону, а корешками в другую и ловко перехватила его, как пояском.

— Ставь в крестцы! — сказала она сыну.

Сноп получился увесистым. Одному Ване с ним не справиться, и я поспешил ему на помощь. Но и вдвоем еле-еле подняли.

— Ну-ка, богатыри! — Фрол Иванович подхватил сноп и поставил его на пона колосками кверху, приставил к нему еще один, а третий положил сверху вместо крыши. По-

лучился маленький шалашик, продуваемый со всех сторон. — Вы вот что, хлопчики, слятайте лучше на стан за водичкой, а то совсем в горле пересохло.

Ваня вихрем сорвался с места, только пятки засверкали. Я приударил следом, чтобы не отстать. К бабушке Лукерье подбежали вместе, запыхавшиеся, деловитые, заторопили ее, чтобы побыстрее налила нам воды в ведерко.

— Обождите! — отмахнулась бабушка Лукерья. — У меня каша пригорает...

— Там люди от жажды умирают, а она со своей кашей возится! — заворчал Ваня и, взяв порожнее ведро, направился к бочке с водой, стоявшей на дрожках.

Поблизости не было ни озера, ни речки, воду приходилось доставлять из села, так что дрожки были сменные. Не успеет Митя Хиленький, сынок тети Фроси, сделать один рейс, как снова отправляется в путь-дорогу. Так и курсировал он целый день.

Ваня залез на бочку и потянул черпак, опущенный в горловину, довел ковш до края, а вытащить не может. Ковшик вместительный, удобный. Обычным половником начиркаешься, а так зачерпнул разок-другой — и ведерко полное.

— Витюха, помогай! — прокричал Ваня.

Влез на бочку и я. Начали давить вдвоем на черенок. Наполовину вытащили черпак из горловины, поднажали еще немного и, теряя равновесие, полетели вместе с ковшом на землю.

— Ах, торопыги! — закричала бабушка Лукерья. Подбежала, отвесила по шлепку:

нас-то ей не жалко, а что воду разлили — пожалела. Но печаль ее была недолгой.

— Ну ничего, скупились маленько. Прохладней будет, — сказала она. Наполнила ведерко наполовину, дала палочку, чтобы удобнее нести на дужке, и мы пошли на покос, не торопясь, боясь расплескать драгоценную влагу.

— А вот и долгожданные! — сказала мама. Она зачерпнула кружкой из ведра, но сама пить не стала, а передала тете Лене. — Ну, подружка, кажется, и наши дети при деле.

— Наверное, не дождусь, когда вырастет, — ответила тетя Лена, невесело поглядывая на Ваню.

— Вырастет, и не заметишь, как женить пора! — Это сказал Фрол Иванович. Он подошел, ведя дончака под уздцы, потрепал нас за вихры, пошел и бросил маме:

— Вот что, Анушка, поработай с Ванюшкой, а я доскачу до правления, заодно узнаю, как там дела на фронте: не правится мне это буханье. — И он кивнул на горизонт.

До полевого стана Фрол Иванович довел коня в поводу, постоял возле бабушки Лукерьи, потом вскочил в седло и поскакал под гору.

Бабушка Лукерья выбежала на дорогу, что-то прокричала ему, но Фрол Иванович даже не оглянулся, а она долго еще стояла на одном месте, пока всадник совсем не скрылся.

Картина — и только! — гмыкнула тетя Фрося и пропела:

Проводила я много
Ой да от маменьких ворот,
А сама скорей к другому
Побегла за поворот.

-- Будя тебе! — недовольно сказала мама. -- Видать, и взаправду фриц подкатывается.

-- Али что слышно? — насторожилась тетя Фрося.

-- Вот вернется Фрол Иванович — узнаем. А сейчас в ружье, бабы!

Все оживились. Тетя Фрося повела за собой косарей, а мама села на лобогрейку. Правил мой брат. Он сидел на переднем сиденье, как кучер на облучке, за его спиной взмывали попеременно вверх грабельки с короткими угольчатыми гребешками, и казалось, что это большая птица, распушив оперенье, машет крыльями, а взлететь не может. Мама сидела сзади на таком же, как у Вани, сиденье и, едва успевая убирать из-под «крыльев» жито в конешки, сбрасывала их вилами назад. Конешки эти тоже не залеживались, на их месте вскоре появлялись маленькие шалашики из снопов, которые тут же обживали жаворонки: надежнее убежища от стервятников не сыскать.

Уехав на часок, Фрол Иванович два дня не появлялся на полевом стане. Как сказал Митя Хиленький, его вызвали в райцентр вместе с председателем по неотложному делу, а вот по какому, Митя не знал. На третий день, спарывая его за водой, женщины настойчиво просили разузнать обстановку, а

то, может, фронт уже к селу придвинулся, а они и не ведают о том. Митя вернулся к обеду с нерадостной вестью:

— Немцы рядом!

Женщины собрались в кружок, понурили головы, запечалились. В котле стыла каша, а они сидели, словно неживые.

— Поди, опять вранье! — сказала бабушка Лукерья. — Когда еще талдычили: «Москве — капут», да сами пинка под зад получили.

— За что купил, за то и продаю, — пожал плечами Митя. — Только похоже на правду. Вон палят и палят без умолку. Отсюда слышно.

— Чего зря судачить, — пыталась поднять женщины моя мама. — Вот придет Фрол Иванович...

Но никто не шевельнулся. Даже бабка Лукерья и та опустила руки.

— А что — нагрянет супостат. У них, бают, огромная сила.

Но тут под горой зацокали копыта, и все увидели Фрола Ивановича. Осадив коня у самого тока, он спрыгнул, покачал головой:

— Э-э, девки-бабоньки, негоже так. Печа носы вешать. Враки все это. Не сдадим мы славного города нашего. Дадим ерманцу по зубам. Помните меня, старого солдата. Но для этого, бабоньки, надо подсобить мужичкам нашим. Ну какие они вояки без хлебушка! Аша, Фрося, Лена... А ну-ка, милые-хорошие, грянули нашепенскую...

Фрол Иванович приосанился, и из горла его стариковского выплеснулось до боли знакомые слова:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Одинокий голос бригадира щемил сердце. Первой не выдержала моя мама и, сдерживая слезы, подхватила:

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать.

Потом и остальные женщины воспрянули духом. Принев нели хором.

Отзвучали слова последнего куплета, а растроганный до слез Фрол Иванович все никак не мог успокоиться:

— Ну вот и хорошо: поехали, как поели. Ах вы, неваляшки мои, милые рассяпочки! Не все еще горе выплакано. Мужайтесь, доченьки, мужайтесь!

Женщины исторопливо начали расходиться. Осталась на току одна тетя Лена. Она долго еще сидела и тихо плакала. А мы стояли с Ваней возле нее — не в силах чем-либо помочь. Но тут вернулся Фрол Иванович, присел с ней рядом и заговорил:

— Поплакала — и будя. Слезами, Ленуха, горю не поможешь. Мертвого ведь не вернешь. Вся твоя жизнь теперь в детях. Ты о них подумай, не травми свою душеньку. А ежели каждый в собственной скорлупе замкнется, наедине со своим горем останется, кто же тогда Родину нашу выручит? Подымайся, Ленуха.

— Дядя Фрол, ты, как комиссар! — сквозь слезы сказала тетя Лена.

— В Красной Армии служил, но комиссаром не был. Я, Ленушка, беспартийный большевик. Иди, полежи маленько, соберись с силами...

Тетя Лена поднялась и пошла в лесополосу, где подростки-девчонки няичили маленьких, а мы с Ваней увязались за Фролом Ивановичем. По ему, видно, было в ту минуту не до нас. Он шел так быстро, что мы едва поспевали за ним вирипрыжку. Шел и приговаривал: «Ах вы, неваляшки мои, рассяночки милые...»

На следующий день Фрол Иванович запряг пару лошадей и снова уехал в село. Но на этот раз быстро возвратился, не один, а вместе с Митей Хиленьким. Обе пары лошадей тянули молотилку с механическим приводом, а сзади была прицеплена водовозка.

— Это нам, бабоньки, подарок от районного начальства, — сказал Фрол Иванович, постукивая кнутовищем по молотилке. — Це-нам в подмогу.

Молотилочка была как пельзя кстати. Особенно для нас с Ваней. Людей на току не хватало, и нам доверили быть рулевыми. «Рулили» мы на конях, как заправские ездоки, только кони те ходили по кругу, вращая привод. Так что больно не разгонишься. Но к обеду от такой езды нас укачало до тошноты. Как ни сопротивлялись, пришлось уступить место моему брату.

Пройдет много времени, и, вспоминая не раз те минуты, я вновь и вновь буду испытывать радостное ощущение в груди. И не раз расскажу своим детям о том, какими самостоятельными были в те дни их сверстники. Глядя на старших, мы, дети войны, мужали не по годам, раньше своих лет взрослее становились.

Надо было видеть, с каким упором все работали на току в августовскую пору сорок второго. Фрол Иванович был за механика, моя мама, тетя Фрося, другие женщины только успевали подавать снопы да отгребать зерно. С зари и до зари над стенью не смолкал гул молотилки и стук цепов. Где-то в стороне бухали орудия, и по вечерам небосвод заливали огненные снолохи, а люди, кажется, позабыли, что где-то совсем рядом полыхает война. На току росли бурты хлеба. Зерно тут же грузили на подводы и везли на станцию с тем, чтобы отправить с первым же понавшимися эшелоном.

А незабвенная бабушка Лукерья? Она не косила, не вязала снопов, но ее команде подчинялись все. Подойдет, бывало, время обеда, бабушка Лукерья кричит нам:

— А ну-ка, внучатки, сыграйте сбор!

Возле костра стоял кол, а на нем висел лемех. Мы с Ваней бежим к нему наперегонки, воображая, что это колокол. И стоит только «занесть» нашему лемеху, как все на току замирало. Рабочий люд усаживался в круг, и мы тут как тут. Притулились к матери, чтобы побыть вместе с нею. Больше времени не было.

Так было и в тот памятный день. Присел

я возле мамы, а тетя Фрося поднесла ложку ко рту и лукаво сощурила глаза:

- - А каша-то пересолена!

— Не скажи! — приняв ее слова за чистую монету, обиделась бабушка Лукерья. — По вкусу.

— Недосол - - на столе, а пересол — на спине! — продолжала тетя Фрося и, кивнув на Фрола Ивановича, заметила: — Сдается мне, влюбилась наша повариха.

— Больно он мне нужен! — закокетничала бабушка Лукерья, поняв наконец, куда клонит «товарка». — Бородишша да уси — не в моем вкусе.

— Не скажи, тетка Лушка, — не унималась тетя Фрося. — Очень даже симпатичный казак. И крепок ниню, возьму да отобью. Ему с тобой, беззубой, ни поговорить, ни почеломкаться.

— А, бери без боя! — махнула рукой бабушка Лукерья и заключила под общий хохот: - - Отгуляли кони по лугу...

— Гляньте, самолет! - - закричал вдруг мой брат, тыча рукой в небо.

Самолет летел низко, словно выискивая место для посадки.

— Инкак наш! - Тетя Фрося поднялась и, сняв косынку, замахала ею над головой.

Самолет качнул крыльями, и я вдруг отчетливо увидел крест на фюзеляже.

- - Фроська, это же фрицевский! — закричала мама и, подхватив меня, бросилась в лесопосадку, увлекая за собой остальных.

— Во-о-оздух! — крикнул Фрол Иванович. Непривычное слово резануло слух, и в ту же минуту зататакал пулемет, пули взбили на

току фонтанчики пыли, а одна, отрекошетив, упала в котел и завертелась в нем, жужжа, как шмель. Со второго захода с самолета полоснули по посадке, очередью срезало макушки деревьев, но никого не задело. Женщины и ребятники испуганно жалась в кучу, а Фрол Иванович умолял их рассредоточиться. Но никто никак не мог понять, почему он их гонит от себя, и в страхе еще теснее груднились возле бригадира.

— Что же мне с вами делать? — растерянно произнес Фрол Иванович и вдруг, пригибаясь низко, выбежал на ток; подобрал мамину косынку, наколот ее на рожок вил и полез на молотилку. Тенью фашистской свастики снова мелькнул самолет, и зататакал пулемет. «Хролушка!» — бабка Лукерья ойкнула и, теряя сознание, повалилась на землю, а мама, оставив меня на попечение тети Фроси, выскочила из лесопосадки.

— Назад, Анна! — крикнул Фрол Иванович. Но мама уже пересекла открытую местность и поднырнула под молотилку, где находился бригадир. И, кажется, вовремя. Следующая очередь резанула по барабану. Замешкайся она немного, и угодила бы под пули.

— Вот дуреха! — кричал Фрол Иванович. — Не задело?

Да нет вроде! — отвечала мама.

— А меня царапнул, гад! — Фрол Иванович высунул голову и закричал: — Ради бога, сидите смирно! Перестреляют, как курят.

— Дядя Фрол, флаг срезало! — закричала тетя Фрося.

Я видел, как мама протянула обрубок че-

ренка, и не поверил своим глазам: косынка была вся продырявлена пулями.

— Ах, стервятник! — закричал Фрол Иванович. — Ишь ты, флаг ему наш не по праву. А мы его сызнова подыдем! — И маме: — Беги, дочка! Броня у нас не шибко надежная. Уведи людей подальше от беды.

Спотыкаясь и падая, мама пересекла опасную зону и заторопила всех: «Уходим, бабы, скорее, скорее!» Бабушка Лукерья пришла в себя, заартачилась было, но ее силой увлекли за собой.

А вражеский летчик как взбесился. Несколько раз самолет проносился вдоль лесопосадки, едва не задевая верхушек деревьев. Только зря старался: никто не испугался и не бросился врассыпную по полю. И тогда он сделал еще один заход, стеганул очередью по несжатой полоске, поджег хлеб на корню и улетел.

Стояла жара, и пшеничная полоска, отливающая бронзой, на глазах превратилась в черную траурную ленту. Огненные язычки заплясали по жнивью, угрожая сносам, не вывезенным с поля.

— Бабы, в ружье! — скомандовала мама и стала ломать ветки акации. Ее примеру последовали остальные женщины, наломали ветников, стали сбивать пламя и вскоре затушили огонь. Только разогнули спины, снова крик:

— Пожар!

Горело на току. По тому, как дымил, похоже было, что это фриц поджег шалаш.

— Скорее, бабы! — снова заторопила мама. — Вон и Фрол Иванович зовет на помощь.

Видите, на молотилке? Машет флагом. -- Женщины устремились вперед, а за ними -- бабушка Лукерья. Я бежал вместе с мамой. Она еще пошутила, дескать, торопись, Лукерья Флегонтовна, а не то «товарка» первой завладеет «залеткой», и вдруг осеклась. И все замерли.

Шалаш уже догорал. И хотя у многих там остались вещи, никто даже не подумал о них. Все смотрели на Фрола Ивановича. Он сидел на молотилке в какой-то неестественной позе, обхватив руками древко и прижавшись к нему щекой. Ветер шевелил седую бороду, но глаза его были недвижны. «Хролушка! Сокол мой ясный!» -- простонала бабушка Лукерья, и поги ее подкосилась.

Все давно уже разошлись, а я ходил и ходил по выгоревшему клочку поля, мысленно переносясь из настоящего в прошлое. Потом сел на велосипед и поехал на Шуваев бугор. На тот самый, где погиб Фрол Иванович. Хотел побывать на его могиле.

Помню, как его хоронили. Фрола Ивановича не повезли на общее кладбище, а похоронили тут же, неподалеку от полевого стана. На могилу поставили деревянный крест, приколол к нему звездочку.

Звездочку вырезал мой старший брат из жести. Краски под рукой не оказалось, и он обернул ее красным клочком, выкросшим из маминой косынки.

Сейчас на том месте стоял обелиск. Я увидел его издали.

Как изменилось все окрест! Только поле

осталось неизменным. Поле, ставшее доброй памятью отважному бригадиру. Оно шумело спелой нивой.

Домой я возвратился к вечеру, рассказал матери о том, что видел, передумал о чем.

--- Памятливый ты, сынок. Это хорошо. -- И она поцеловала меня, как в детстве, ласково и нежно.— Ванюшка Соколов приходил. Просил зайти.

...Ване наложили повязку на ногу, велели лежать, но он всю шкандылял по двору и очень обрадовался, увидев меня.

— Ну как, герой? — обнял я его за плечо.

— Попал как кур в ощи! — замотал головой Ваня и повел меня в кухню, где сустилась тетя Лена. Та сразу стала расспрашивать про пожар и про то, что там натворил ее сын.

— От него рази добьешься, — жаловалась Ваинна мать.

Я стал рассказывать без утайки, как было дело. А когда дошел до того, как заглох мотор, тетя Лена всплеснула руками:

--- Вот бес, ты же сгореть мог!

— А я бы убег! --- простодушно ответил Ваня.

Зашипело сало на сковородке.

--- А где ж детвора-то? — спросил я.

— На ферму ушли, — ответил Ваня.— Мать встречают.

Тетя Лена немного всплакнула, вспомнила Фрола Ивановича: «Хороший был человек!» Сбылись все-таки слова бригадира. Не заметили, как и повырастали дети. Вот уже и сама бабушкой стала: у Вани двое хлопчиков, у Кати — дочурка. Не дают скучать внуки.

Только замолчала она, и тут как тут внуки, вихрастые, загорелые. Тот, что постарше, поздоровался со мной за руку, назвал свое имя: Вовка, а младший, Ленька, бросился к отцу:

— А мы жареную пшеницу ели, во! — объявил он торжественно и высыпал на стол горсть жареных зернышек.

Следом вошла Лида, жена Вани. Тетя Лена спросила ее:

— Чтой-то ты, подружка, припозднилась поне?

— Да вот шла мимо тока,— ответила Лида,— а там Катерина наша с бабами зерно отгружают на элеватор. Подсобила им.

Ваня, положив в рот щепотку жареных зерен, захрумкал, приговаривая: «Деликатес!» А я глядел на друга своего детства и радовался счастливой его судьбе.

Филимонов колодец

Всю ночь Филимон Озерин не смыкал глаз, ворочался с боку на бок, выходил во двор, курил сигарку за сигаркой и никак не мог успокоиться. Лишь под утро прикорнул немного и, как наяву, увидел себя солдатом при всех боевых регалиях.

В апреле сорок пятого после тяжелого ранения рядовой Озерин, получив краткосрочный отпуск, приехал домой. Явилась к нему целая делегация односельчан, так, мол, и так,

Филимон Иванович, вырыл бы колодец. Ремеслом он этим никогда не занимался, но прикинул, сколько повыбрасывал земли, окапываясь на передовой, и согласился. Колодец вышел на славу. Вода — вкусней Озерину нигде не приходилось пить такой, хоть и прошагал он пол-Европы.

К концу подошел отпуск, пора было возвращаться в свою стрелковую роту. Все село пришло провожать Филимона. Хвалят колодец и его творца за удачу — такую несолевою жижу нащупал, — желают, чтоб вернулся домой живым и невредимым. И вдруг в самый разгар расставания подлетел на взмыленном жеребце Кирька Ковалев. «Опоздал Филимонша! — радостно выкрикнул он. — Конiec войны! А ну, бабы, качать фронтовика!»

И вот, заново переживая то событие, Филимон плакал и смеялся вместе со всеми, пока не проснулся. И тут он понял, отчего все это произошло. Вспомнил вчерашний разговор у колодца, и горькой обидой ожгло опять сердце.

...С осени не был Филимон в Терновке — с того времени, как умерла его Марья. Зимовал у дочери Варьки в большом и шумном городе, вернулся только к посевной, заранее договорившись с Кирькой-бригадиром, что пойдет на сеялку.

Дом в его отсутствие не пустовал. Уезжая, Филимон пустил на постой Костю Вяткина, работавшего шофером в колхозе. Парень только женился, молодые не ладили что-то со стариками, отделились. Филимон и приютит их на время.

К приезду Озерина Костя купил свой дом

и не знал, как отблагодарить Филимона. Встретил его на станции в машине, с шиком докатил до дома, деньги за квартиру предлагал, но Филимон наотрез отказался, пояснив, что никакой корысти он не имел, дом все равно пришлось бы заколачивать, а сейчас как-то веселее на душе оттого, что из него живой дух не выветрился.

— Никак прибавления ждешь? — спросил Филимон, стараясь перевести разговор на другую тему.

— Так точно, дядя Филимон, — засмеялся Костя. — Приходи на крестины.

— А почто нет! — улыбнулся Филимон. — Приду, если позовешь.

Уехал Костя, а Филимон невольно потянулся к чугунку с питьевой водой: вспомнил Марью, как встречала его, зачерпнул кружкой, отпил глоток, чувствует — не тот вкус, по всей видимости, натаסקали с речки. «Эк ты!» — взял ведро и пошел к колодцу.

Тихо и пустынно на улице. И это насторожило Филимона. Увидел, как по-хозяйски шиняряют в сруб воробыи, еще больше заволновался: «Птица обживает — плохая примета». Ведро на месте не оказалось, даже цепь кто-то оборвал. Напрягая скуластое лицо, вытянув шею, Филимон навалился всей грудью на сруб, сиюсь разглядеть желанное зеркальце на дне колодца. Не увидев, бросил камень — и не услышал всплеска. Тут только обратил внимание на квадратную ямку близ колодца. Новый начали копать. Берет Филимон свой колодец: в зимнюю стужу укутывал камышовым плетунком, скалывая наледь с верхних венцов сруба, по утрам первым пробивал к нему до-

рожку в глубоком снегу, а весной ремонтировал. И вот стоило только отлучиться на время, и детище его пришло в упадок.

Пригревало солнце. Он уже было собрался уходить, как из домов новыскакивали стар и млад, гремя ведрами и бачками.

— Лавка, что ли, приезжает? — спросил Филимон Анюту Комарову, верткую и говорливую, как сверчок, соседку.

— Ты, Филимон Иванович, иль с луны свалился? Вяткина караулим. На обед прибудет на своей водовозке.

— Прямо беда, Филимон Иванович, — встряли в разговор Поля Кругленькая и Катя Матюшкина — подружки Марьины. — Опять на речку ходим. На Костю какая надежда: ныне привез, завтра ему неcoli. И новый колодец не роют. Вон Батюня колопнул чуть-чуть — и глаз не кажет.

Митька Батюнин когда-то копошился в колхозе, а потом перешел на вольные заработки — колодцы стал копать, за что получил даже охранную грамоту от сельсовета.

На Солонешнюю улицу Батюнина привез Костя Вяткин; тот походил и отказался. «Лопухов не вижу!» — объяснил он. «Приспичило, что ли?» — подняли его на смех. А он невозмутимо так отвечает: «Там, где лопухи, вода близко!» И нашел-таки их возле... Костинного палисадника, а мужики в штыки:

— Посередке копай! — сказали в один голос.

Батюнину ничего не оставалось, как только подчиниться, но, выкопав с метр, он исчез.

Женщины ругали Батюнина и Вяткина, а сами поглядывали в переулочек, ожидая Кости-

